

2003 - 15 - 17 фев - 0.20

У меня зазвонил телефон. Кто говорит?... Говорили от имени какой-то ассоциации — что-то связанное с защитой культуры; было это еще при Ельцине и запомнилось крепко:

— У нас есть текст, подписанный очень видными деятелями культуры. О необходимости эмиграции.

Я озадаченно переспросил: «О чем, о чем?» — из трубки поперло: «Страна одичала! Вернулись допетровские времена! Эмиграция! Только эмиграция!», и произошел такой диалог: «А от меня-то вам чего надобно?» — «Чтобы вы тоже подписали». — «Знаете, я подписываю, как правило, то, что сам написал». И — получил за свою вежливую уклончивость: «Ну, погодите! Вот будет варфоломеевская ночь, тогда вам отрежут яйца!..».

Шварк! Звук брошенной трубки. Такая вот защита культуры.

Странно ли (для меня — нет), что мгновенно подумалось: ох, в какую бы ярость пришел, услышав это, Эмка, или, выражаясь официально, Наум Коржавин. Да, он, гражданин США, эмигрант с многолетним стажем, каковой титул и по сей день звучит для меня дико...

— **П**остоим за веру православному! — едва не первые слова, которые я от него услышал аж в 1959-м... Нет, вру, незадолго до того мельком познакомился с ним в издательстве «Молодая гвардия», куда он зашел к моему сослуживцу Булату Окуджаве и поразил меня нетривиальным обликом.

Правда, уже давно миновали послевоенные времена, когда Коржавин учился в Литинституте (в общежитие которого являлся ночной порой арестовать его два энкаведэшных чина) и ходил зимой в виде уж совсем легендарном. Вспоминают буденновский шлем, шинель на полуголое тело и дырявые валенки.

Об этом я только слышал — потом, позже, но и, увидав Коржавина в издательском коридоре, уже в каком-никаком пиджачке, был заинтригован мгновенно. И когда он, побеседовав с Окуджавой, отбыл, спросил: «Кто это?». «Очень интересный человек!» — со значени-

вечно, церковь/ Покрова на реке Нерли?... И т.п.

«Так и видишь поэта, в молитвенном экстазе стоящего на коленях...» — глумилась «Комсомолка», в годы хрущевского погрома старинных храмов указывая «Литгазете» на идеологическую провинность. Заодно обвиняя поэта-еврея, тогда еще не вошедшего в лоно православия (за что его, к слову, ныне уже язвит журнал «Лехаим»), в недопустимой склонности к оному.

Коржавин всегда и всех — по крайности, многих — ошеломял. И той же внешностью, и костюмом, которым не был озабочен и в более благополуч-

извлечь идею. У Рассадина, Бена Сарнова любимым поэтом был Эмка Мандель. Потому что им нравились у него идеи».

Другое дело, что потом я же долгие годы выпрастывался из-под Коржавина, как из-под навалившейся медвежьей туши, навсегда сохранив благодарность за худо-бедно выправленные мозги. Да и по молодости иной раз позволял себе бунт — не беспощадный, но уж точно бессмысленный, ибо он бывал немедленно подавляем.

«Стасик! — непривычно холодно обращался он ко мне в письме далекого 1962 года по

ПЕСНЯ



Станислав РАССАДИН,
обозреватель «Новой газеты»

ные годы, ежели допустить, что они у него были, и своей, как считалось, странностью. «Ненормальностью». Которая, впрочем, синоним непосредственности. И — непреклонной «старомодной», «отсталой» нормальностью, являемой на протяжении всей жизни. Не как-нибудь, а «В защиту банальных истин» назвал он статью, напечатанную некогда «Новым миром» Твардовского и породившую нешуточную полемику.

Помнится, мы с Бенедиктом Сарновым, безусловные сторонники Коржавина, факультативно веселясь, сочинили стишок, озаглавленный: «Поэту Коржавину, именуемому себя Эмма», — отчасти дабы его подразнить, отчасти пародируя логику нападок на него: «Флобер однажды, сидя дома, / Самодовольства не тая / Похвастался своим знакомым: / Мол, дескать, Эмма — это я! / <...> Но как порой судьба лукава! / Не смысла в форме ни ..., /

забытому нами обоими поводу. — Я знаю, что сейчас в литературе наступает — временно, очень даже временно — разброд... И одним из проявлений этого разброда я считаю м... тобой сегодняшней разговор... силу своего самонадеяния я никогда не побоюсь оказаться в одиночестве — но все же это очень грустно». После чего следовало заключение, которое сегодня воспринимается с новой силой драматизма: «Но практика показывает, что, если отказываться от себя, одиночество бывает хуже и безысходнее».

В общем, я трусливо дал задний ход, покаялся во фракционности или там левом уклоне, в следующем письме вновь заслужив «милого Стасиньку», а сама эта история довыявила характернейшее... Только ли для Коржавина-Манделя?

«Поэзия — это сознание своей правоты», — сказал наполовину его однофамилец Мандельштам, и хотя речь о двух «лицах еврейской национальности», подобное могло быть сказано только в России. Во всяком случае, узаконено ею с ее иступленным правоискусательством — но так у нас получается, коли уж ты уверился, что отыскал истинное, никому его не уступишь.

«Поэзия — это сознание своей правоты», — сказал Мандельштам, и его полуоднофамилец подтверждает это всей своей жизнью

ем, будто выдавая некую полутайну, ответил Булат.

Итак: «Постоим за веру!» — врывается этот полузнакомец в комнату «Литгазеты», где сижу и я, только-только туда перешедший. Оказалось, за несколько дней перед тем «Литгазетке» удалось напечатать стихи его, справедливо считавшегося неблагонадежным, и по этим стихам грубо грохнула «Комсомольская правда», дочернее подобие директивной «Правды». Для либерального органа, каковым была наша газета, это означало ритуальную необходимость жалко оправдываться, для неугодившего автора — длительное недопущение в печать.

За что? За проблеск политического оппозиционерства? Да нет. Вот за это: «По какой ты кроена мерке? / Чем твой облик манит вдали? / Чем ты светишься

Коржавин все ж имеет право / Воскликнуть: «Эмма — это я!».

— Суки! — вскричал адресат эпиграммы. — *Про меня* сказать, что я ничего не понимаю в форме?!

— Эмочка, — кротко ответил я. — Ну хочешь, мы заменим: «Ни в чем не смысла ни...»?

— Но это же будет совсем неправда, — недоуменно возразил поэт, шутки не оценив. И был, разумеется, прав и в одном, и в другом.

Никто, пожалуй, не влиял на меня с такой подавляющей силой, что иных раздражало, по крайней мере, во мне. Цитирую дневниковые записи прозаика Марка Харитонова — о том, как Давид Самойлов когда-то хвалебно отзывался о моих писаниях. «Когда я напомнил ему... (кстати, как трогательно: действительно, вдруг тот забылся?) что прежде он не особенно жаловал этого критика, он объяснил: «Они из всего стараются

И вот он, такой, уехал. В дни, когда решение стало бесповоротным, я, встретив Бориса Слуцкого, горько посетовал:

— Представляете, Эмка — и уезжает! А ведь более русского человека я просто не знаю!

— Да, — ответил Слуцкий со своей обыкновенной интонационной важностью. — Он не только русский, но и советский. Даже больше, чем Сталин.

(«Так ли? — помню, не сказал, но подумал я. — Сталин — вот уж кто никакими советскими иллюзиями и не думал обольщаться...»)

Этот поворот коржавинской судьбы для меня мучителен по-прежнему. Мучителен вообще. Надобно объяснить.

«До 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию, у нас существовало романтическое ощущение необратимости движения к демократии, свободе. В 68-м стало ясно, что этому конец. Именно тогда воз-

никла идея массо-

вой эмиграции. Это было желание целого поколения, не мое лично... В 68-м мы поняли, что здесь ничего уже нельзя сделать, надо уносить ноги».

Признаюсь, некоторое так задевало меня в последнее время, как это интервью Василия Аксенова. Разве что, и еще того душе — то, что уже в 1988-м говорил знаменитый ученый и депутат-демократ Вячеслав Всеволодович Иванов (а помню, что и это запечатлел в своих изданных дневниках). Происходит катастрофа, внушает Харитонову друг моих друзей, в том числе и

даем. Но что правда, то правда: уезжали очень по-разному. Не говоря о насильно высланном Солженицыне, как Виктор Некрасов, Владимир, Войнович, Галич... Коржавин?

Могу совершенно точно сказать: один из самых горьких дней моей жизни — когда мы провожали его в Шереметьево, когда ревня редела вся провожающая толпа и сам Эмка, опухший от слез, уходил в дверь таможни, исчезая для нас, как мы и он думали, навсегда. Потом, в конце 80-х, в стихах о неизбежно приближающемся прощании с жизнью он скажет, что эта боль уже была им пережита — «там,

на магнитофон: «С Новым годом!.. Что кому дано, / В славе ль, в сраме, / Все равно мы вместе... Все равно / Весь я с вами». Слушали — и снова ревели, даже бесслезный Булат, понимая: да-да, с нами, но ведь не увидимся. Ни-ко-гда!..

Касаюсь щекотливой темы: могу ли поставить себе в заслугу, что не было в моей жизни ни одного мгновения, когда я хоть умозрительно допустил бы возможность эмиграции? Еще чего! Речь о другом.

«Не нужен мне берег турецкий, / И Африка мне не

рое. Уедешь — навсегда, а, отсидев, все-таки останешься дома».

Эта моя эскапада вызвала приступ ярости у тогдашнего друга, как потом оказалось, втайне обдумывавшего отъезд, и я сам был несколько удивлен, когда меня всерьез поддержал присутствовавший при споре Марк Галлай, великий летчик, хороший писатель. Человек того житейского опыта, которого у меня не было и не будет.

И тем более остро все это вспомнилось, когда я прочел у того же Аксенова слова Юрия Казакова, сказанные ему «за пару недель до выезда из СССР»: «...народ говорит, Вас-

Литературная эмиграция показывает, как трудно было б в России, если б наступила свобода, — ...какие реваншисты стали бы на первых порах более активны

Наум Коржавин, 1977 г.

дони и вдруг остановился: «Неужели я больше не увижу тебя, ни Стасика?».

Да, следовательно был идиллический, вызов к нему стал последним толчком, но не первопричиной.

— Я уезжал от безысходности, — скажет мне Коржавин годы спустя, в свой первый приезд «оттуда» в Москву. — В прекрасное далеко я не верил уже тогда. Помнишь, Булат как-то сказал, что в последние годы застоя чувствовал, что задыхается, умирает. То же было со мной, только еще раньше...

А быть может, причина еще того глубже — почти до неразличимости в недрах подсознания? Ведь говорим о поэте, а им свойственно предчувствовать и даже строить свою судьбу, выдавая свое предчувствие в оговорках и проговорах.

Строить судьбу, ломать биографию — это иногда одно и то же.

Очень помню, каким событием для Эмки было получение его первой — и последней — квартиры в Москве, в Беляеве, в новостройке. Он тогда написал стихотворение «Новоселье» — диптих, и в первой части, как вздох облегчения, звучало счастье наконец обретенной устойчивости. Но уже во второй...

В который раз повторю: странно. Во второй вновь подала тоскливый голос бездомность.

То был 1967-й. Год спустя тревожное предощущение обернется отчетливым чувством, ни много ни мало, вины. Упреки себе, что он хоть на миг ощутил счастье благополучия. *Тод ступа...* Надо ли объяснять драматический смысл цифры «1968»? «Мы испытали все на свете. / Но есть у нас теперь квартиры — / Как в светлый сон, мы входим в них. / А в Праге, в танках, наши дети... / Но нам плевать на ужас мира — / Пьем в «Гастрономах» на троих».

Мы... Наши... Нам... Такая напраслина, для поэта — естественная.

Нет, вовсе не утверждаю, что эмиграция была предопределена. Важно другое.

— Одна бостонская знакомая, — говорил мне Коржавин, — сказала, вроде утешая: «В России нам с вами тоже было плохо».

Она — сказала, но чтобы это услышать и зафиксировать, надо было быть им. *Тодже...* «Но умер там / И не воскресну здесь», — эти строчки появились, едва он приехал в Штаты и даже не успел оглядеться.

Было бы чистым садизмом желать кому бы то ни было, Коржавину в частности, такого самоощущения, как у него. Однако не хочу и не стану скрывать, что именно это считаю доказательством его неординарности, крупности... Не сказать ли: и русскости?

Из писем «оттуда»: «Здесь тоже жизнь, но этой жизнью я не живу, потому что не знаю, как ею жить, а живу какой-то странной, межеумочной... Настроение, как видишь, не очень хорошее, но это — проходящее. Тутешная страна мне очень нравится, люди очень хорошие — как Адам и Ева до грехопадения. ...Как сказал мне один знакомый, американцы — крестьянская нация в условиях супериндустриальной жизни». (1974).

«Здесь я слышал одну лекцию о символизме. Читала крупнейший специалист по этому вопросу... Господи, ностальгией заболеть можно, до чего убого! Кожинава читать захочешь».

Нет уж, ребята, пишите статьи, поболее — пусть не дразня гусей. Не в гусях тут дело. Может, и впрямь удастся культуру сохранить. Господи, что могла сделать Россия! Это диверсия дьявола против Духа — вывести ее из строя. Но все-таки кое-что осталось и движется. Хотя трудно в эпоху психушек (я не смог, сорвался — а все-таки надо!). Впрочем, литературная эмиграция показывает отчасти, как трудно было б в России, если б наступила свобода, — кто бы и какие страсти, какие реваншисты стали бы на первых порах более активны. (Провидец! — Ст. Р.). Впрочем, и мы б дремали. «Первые поры» перетерпели бы...» (1977).

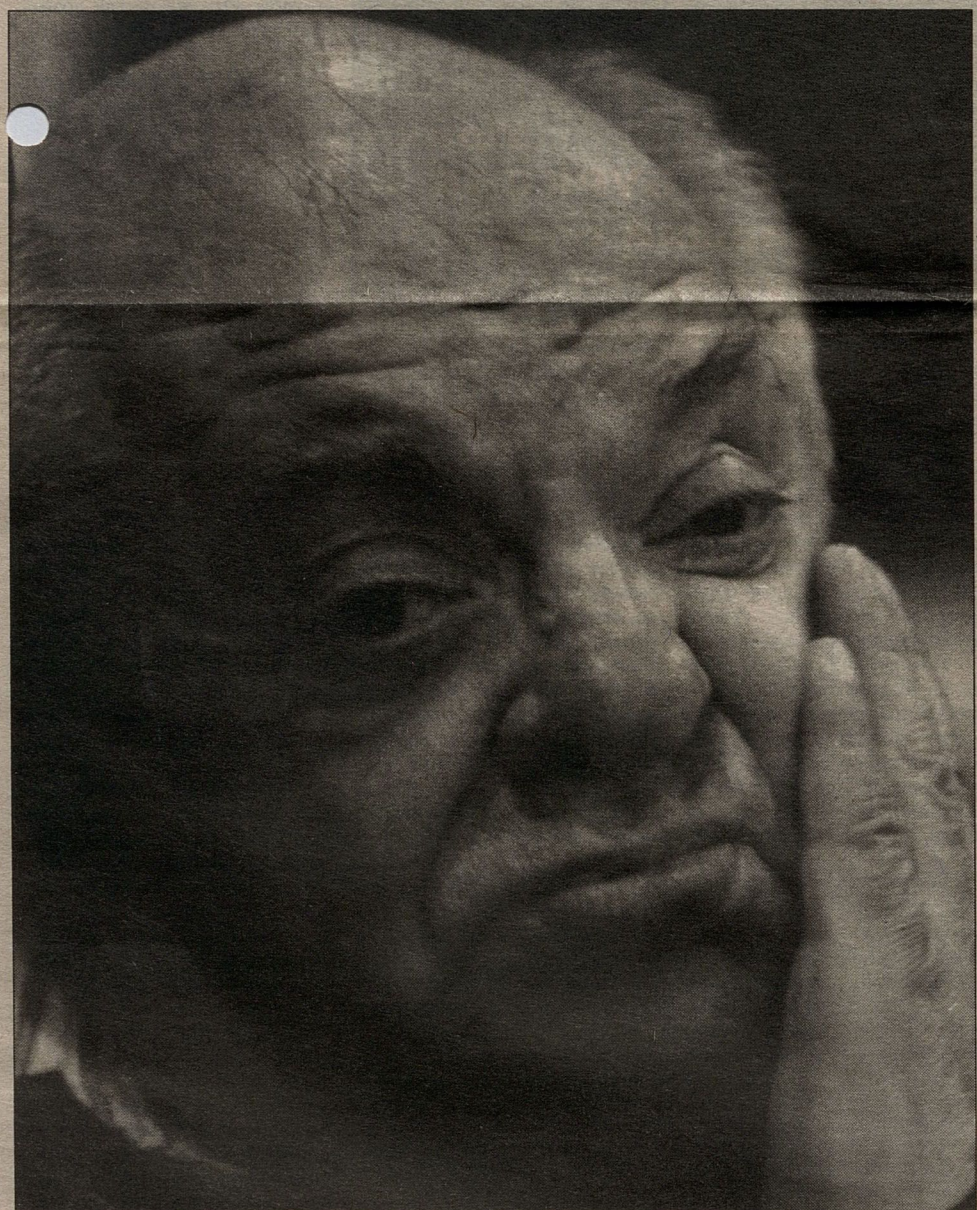
«Вполне уважаю и считаю правильным твое убеждение, что работать можно только в языковых, географических (и — добавил бы от себя — культурных) границах России. Я никогда и не думал иначе — просто нервы не выдержали. Правда, ситуация в мире становится все грозней, мировая глупость прорвалась на свет американско-китайской любовью, а это касается тех границ, внутри которых ты пребываешь всецело, а я сейчас, к сожалению, только духовно. А я и в Москве понимал, что к этому идет, что сами на это напрашиваемся, но не мог не только что-нибудь сделать, а и сказать об этом громко. Что тоже сказывалось на состоянии нервов и на принятии решений».

Жалею, что вынужден был их принять, а не о том, что принял. Но я рад, что у тебя нервы выдерживают (все равно изменить ничего нельзя) и что ты можешь плодотворно работать. Я очень соскучился по эстетической точности — хотя бы в постановке проблем, а не в их решении. И то, что мы, встречаясь в последние годы, больше говорили на эстетические темы, для меня вовсе не было уклонением от чего-то другого, я бы и сейчас, если бы Бог привел встретиться, говорил бы о том же. Это очень важные темы. И, может быть, только разговоры на эти темы — не болтовня, а творческая работа. (Здесь это все подменено разговорами о «форме», «современности», «мастерстве» и прочей дошкольности)...» (1979).

Бог — привел-таки, чего не ожидалось никак. Коржавин приехал, выступал, собирая битком набитые залы, которые вставали ему навстречу; и еще раз приехал, и еще, и еще; и прошла первая эйфория негаданной встречи, он, как и прежде, стал достоинством московского литературного бита, у кого в друзьях и поклонниках «вся Москва». И мы, как в старые годы, принялись лаяться, неподобно обзывая друг друга, — недаром же некогда родилась эпиграмма: «Не ругайся Мандель матом, / Был бы Мандель дипломатом». Тем более что он отнюдь не утратил учительного пафоса и никогда не перестанет вмешиваться в нашу с ним общую жизнь.

Общую. Нашу.

ДОМАШНЕГО ГУСЯ, или ЭТОТ ОТСТАЛЫЙ КОРЖАВИН



ка, что тебя либо посадят, либо за границу отправят. По мне, так лучше бы тебя посадили, все-таки хоть в тюрьме, но с нами останешься, дома...».

«Ноту капитуляции» слышал Аксенов в этих словах. Возможно. А уж мои-то слова, кажется, просто нельзя было не воспринять с иронической снисходительностью: мелет, мальчишка, черт знает что, пока жареный петух не клюнул в заднее место. И все же...

Как-то два моих друга, Оксужава и Искандер, порознь объясняя мне, почему не представляют себя в эмиграции, говорили нечто неотразимо схожее и как бы оправдываясь: дело не в чем-то таком, просто я инертен... здесь мои читатели... и т.п. Чего стесняемся, друзья вы мои? Неужто мы, понимая «нас» широко, своим нежеланием эмигрировать доказали и впрямь ту самую покорность домашней прикормленной птицы? И — как нечаянный комментарий к этому сказанное Юлием Кимом, в прошлом одним из самых рискованных диссидентов, находившимся на габэшном крючке: «Теперь я то и дело встречаю мысль: тот, кто тогда бежал от режима, был храбрее тех, кто оставался. Как будто режим — единственное, что можно любить на родной стороне»...

Хорошо. А «непродвинутой», «отсталой» Коржавин? Зачем, почему уехал он?

Только ли потому, что был вызван на Лубянку и следовательно-идиот, пораженный его нервической открытостью насчет того, кто есть кто, — открытость, которой Эмка не хотел изменить и в лубянских стенах, — стал ему угрожать? (Хотя дело-то было пустое и вообще постороннее). После чего, не отлагая, подал в Союз писателей заявление о желании эмигрировать, чем, кажется, их обрадовал легкой ценой избавившись от нежелательного элемента. Подав, пришел в ужас от содеянного; в те дни я находившись в подмосковной Малеевке и, позвонив отцу Бориса Балтеру, спросил: что Эмка? Неужели принял решение?

— Принял, — ответил Боря. — Как раз сейчас бежит по моей комнате, трет ла-

Коржавина. «...Я всем советую теперь уезжать...» Всем??? Бегство как частное средство спасения, предлагаемое всем, — кроме, понятно, всего народа, ради которого вроде бы и клялась жить гуманитарная русская интеллигенция?..

Забывчив стал быллой мой товарищ Вася. В какой ужас пришел он, когда его друг Гладиллин, осерчавший на КГБ, который не пустил в заграничную командировку, решил — в 1976-м — эмигрировать. «Что он там будет делать? Он же там пропадет!..»

Чтобы кого-то корить эмиграцией, надо стать не-

на балконе, в Шереметьево... / Где в октябре семьдесят третьего / И уходил я в мир иной». А в тот миг я и стоявший рядом поэт Корнилов непроизвольно сделали одно и то же движение, подпрыгнули, чтобы еще мгновение видеть удаляющуюся Эмкину спину. И Володя сказал страшно и точно: «Как в крематории».

Да и несколько лет спустя, в зимних латвийских Дубулдах, звонит из своего номера Оксужава: «Зайди скорее!». Бегу, и мы слушаем, как Коржавин обращается по «Свободе» к друзьям, к нам, — Булат, поймав его голос, пробившийся сквозь заглупку, успел записать

нужна», — победно несло в оные времена из радиоточек голосом тогдашнего Кобзона Владимира Бунчикова, и, вспоминая, С.Я. Маршак, давая от смеха, заговорщически наклоняется к нам с Валей Берестовым: «Вы знаете, что это такое?.. Только, милые, никому ни слова!.. Это — песня домашнего гуся!». Так вот, домашний гусь — это я. Только всего.

Когда-то, очень давно, когда начались разговоры о возможности эмигрировать, я, ввязавшись в спор, выпалил сгоряча: дескать, если передо мной станет выбор, уехать ли на Запад или сесть в наш лагерь, выберу вто-